
Вампир из Урюпинска
Сороковая ночь
УРЮПИНСК
Уютная зимняя история
о вампирах, провинции
и гречке с печёнкой.

Милана Панова

Вампир из Урюпинска. Сороковая ночь

«Автор»
2026

Панова М.

Вампир из Урюпинска. Сороковая ночь / М. Панова — «Автор», 2026

Уютная зимняя история о вампирах, провинции и гречке с печёнкой. Читается отдельно от серии.В Урюпинске ноябрь: Зинаида Петровна квасит капусту, а у Любы и её мужа Влада, бывшего трансильванского графа, а ныне ночного фельдшера, рождается дочка. С одним острым зубиком, глазами-ночниками и привычкой засыпать, только если кто-то вслух считает.А по раскисшим дорогам к городу уже едут тринадцать гробов. Совет Ночи прибыл провести древний обряд: на сороковую ночь младенец выберет между серебряным Кубком и клубком козьего пуха. Возьмёт Кубок — заберут в Вену на сто лет.Заседание в погребе среди банок с огурцами. Грозная старейшина, которой 870 лет, а на вид семь, получает пальто с зайчиком и четвёрку за наклон. Ледяной дождь, тотализатор, война двух бабушек, снежинки на ёлке в ДК — и город, где для каждого найдётся банка «Для гостей».Смешная и тёплая книга о том, что семья — это те, кто считает с тобой до утра.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Отсрочка 6
Глава 2. Капуста 9
Глава 3. Натальный зуб 13
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Милана Панова
Вампир из Урюпинска. Сороковая ночь

Вампир из Урюпинска

Книга третья. Сороковая ночь

Глава 1. Отсрочка

Подвал под кафе на Шёнбруннерштрассе был старше самого кафе на семьсот лет и старше Вены, если верить тем, кто в нём заседал. Наверху подавали штрудель и меланж, играл пианист, туристы фотографировали пирожные. Внизу, под тремя пролётами каменной лестницы и дверью, на которой было написано «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещён», за длинным дубовым столом сидели тринадцать старейшин Совета Ночи и слушали, как секретарь читает вслух рапорт из России.

Читал секретарь плохо. Это был молодой вампир, всего сто сорок лет, взятый на место советника фон Крайта по объявлению. Объявление пришлось давать, потому что сам Крайт на прежнее место возвращаться отказался. Он прислал из России заявление об увольнении на одиннадцати листах, с приложениями, и в приложении номер семь, озаглавленном «Причины», было одно-единственное слово: «Нашёл».

Что именно нашёл советник, в Совете так и не поняли. Но рапорты он присылать не перестал.

— «…таким образом, — читал секретарь, водя пальцем по строчкам, — отступник Батори, Влад, четыреста четырнадцати полных лет, проживает в городе Урюпинске Волгоградской области, работает ночным фельдшером на станции переливания крови, питается гречневой крупой с говяжьей печенью четыре раза в неделю, отражается в зеркале целиком, включая обувь. Женат на смертной Любови Николаевне, лаборантке и владелице восемнадцати коз. Находится под рукой старшей крови по слову второму преамбулы, в связи с чем недосягаем для надзора…»

— Это мы помним, — сказал кто-то с дальнего конца стола. — Дальше.

— «…Глава рода, графиня Эржебета Батори-Карпати, шестисот двенадцати лет, проживает там же, на третьем этаже, в квартире смертной по имени Нинка. Выращивает в дорожном гробу рассаду помидоров сорта "Бычье сердце". В зеркале проявилась до подбородка. По вечерам играет в подкидного дурака с хозяйкой квартиры этажом ниже, Зинаидой Петровной…»

При этом имени по залу прошёл шорох. Двое старейшин переглянулись. Сэр Бэзил Пемброк, английский вампир восьмисот лет, имевший привычку держать раскрытый зонт даже в подвале, на всякий случай опустил его пониже.

Имя Зинаиды Петровны в Совете знали. Его знали так, как в средневековых монастырях знали имя чумы: не видя, по слухам, с уважением и страхом. За последние два года через эту женщину прошли три вампира, и все три вернулись — то есть не вернулись — изменёнными. Один стал пастухом. Другой стал ходить на рыбалку. Третий, советник Крайт, двести шестьдесят лет гроза отступников Европы, теперь сидел по ночам в окне номер четыре какого-то МФЦ, и, судя по приложенным фотографиям, был совершенно счастлив.

— «…и, наконец, — продолжил секретарь, — довожу до сведения Совета, что смертная жена отступника, Любовь Николаевна, находится на девятом месяце беременности. Роды ожидаются во второй половине ноября. Согласно моим наблюдениям, ребёнок…»

Он запнулся и посмотрел на председательское кресло.

Кресло стояло во главе стола. Оно было вырезано из чёрного дуба в двенадцатом веке и рассчитано на рыцаря в полном доспехе. В нём, поджав ноги, сидела девочка лет семи.

У девочки были две светлые косички, перевязанные серыми лентами, и платье из грубой серой шерсти, какие носили дети в Тироле при Фридрихе Барбароссе. Ноги до пола не доставали. Руки лежали на подлокотниках, как у королевы. На коленях у неё был раскрыт Устав Ночи — тысяча двести страниц, переплёт из чёрной кожи, — и девочка читала его, водя пальцем, точно так же, как секретарь читал рапорт, только гораздо быстрее.

Это была Агнесса. Старшая Совета. Хранительница Устава. Восемьсот семьдесят лет, из них восемьсот шестьдесят три — в этом председательском кресле. Самая древняя и самая страшная из тринадцати.

— Читай, — сказала Агнесса, не поднимая головы. Голос у неё был детский, высокий и совершенно лишённый детского.

— «…согласно моим наблюдениям, ребёнок, вероятно, будет сумеречным», — дочитал секретарь.

Сумеречным. В подвале стало тихо, как бывает тихо только под землёй.

Сумеречных детей не было триста лет. Ребёнок, рождённый от сына Ночи и смертной женщины, — такое случалось реже, чем полное солнечное затмение над одним и тем же городом. Вампиры детей почти не рожают: для этого нужно, чтобы в жилах текло хоть сколько-нибудь живой крови, а живая кровь у вампира бывает примерно так же часто, как совесть у налогового инспектора. Последнего сумеречного младенца видели в Праге при Габсбургах. Чем кончилось, в архиве не записали.

— Мы собирались ехать в апреле, — сказал сэр Бэзил из-под зонта.

Собирались. Ещё в марте Совет постановил созвать Чрезвычайное собрание тринадцати в Урюпинске в первое полнолуние апреля. Письмо отправили с летучей мышью графини, и мышь, как потом выяснилось, по дороге обратно зимовала в Будапеште, на чердаке оперного театра. Потом подавали на визы.

Визы тринадцати старейшин стали отдельной главой в истории российского консульства в Вене. Анкету возвращали семь раз. В графе «Год рождения» электронная форма принимала только числа начиная с тысяча девятисотого. Испанская старейшина донья Инес де Вентура честно написала «1511», и форма сообщила ей, что такой даты не существует. Француз Дюбуа написал «1342», получил тот же ответ и на этом основании объявил, что, значит, его и самого не существует, после чего три недели не вставал из гроба. Сербские близнецы Драган и Милан Петрович указали один и тот же год рождения, но разные места рождения, потому что двести лет не могли договориться, в каком из двух соседних сёл их на самом деле родила мать. Консул вызвал их на собеседование порознь. Они поссорились в приёмной, и обоим отказали.

Агнесса в графе «Год рождения» написала «1156», и анкету вернули с пометкой: «Заявителю на момент подачи 870 лет. Просьба указать сопровождающего взрослого».

Это был единственный раз за восемь веков, когда кто-то видел Хранительницу Устава в ярости.

К маю всё уладили. Но в мае ночи стали короткими, а в июне в Урюпинске солнце садилось почти в девять вечера и вставало в четыре утра. Старейшины Совета Ночи не путешествуют, когда ночь короче пяти часов: это неприлично, а с их возрастом ещё и опасно. Решили ждать осени. Потом ждать родов. Потом Крайт прислал письмо, что ждать родов не обязательно, а обязательно ждать конца распутицы, потому что в Волгоградской области в ноябре можно утонуть на ровном месте вместе с катафалком. На письмо Совет не ответил. Совет устал ждать.

— Мы едем, — сказала Агнесса и закрыла Устав.

— В распутицу? — спросил сэр Бэзил.

— Не знаю, что это, — сказала Агнесса. — Значит, не страшно.

Она слезла с кресла. Это было единственное, что выдавало в ней возраст тела: спускаться приходилось, как ребёнку, сначала свесив ноги, потом соскальзывая на животе. Секретарь из вежливости отвернулся. Остальные двенадцать давно привыкли и не замечали.

— Устав, параграф шестьсот один, — сказала Агнесса, обходя стол. Она говорила, ни к кому не обращаясь, как говорят люди, которые знают текст наизусть и проверяют себя. — «Дитя сумерек, рождённое от сына Ночи и дочери Дня, на сороковую ночь после рождения да будет положено между Кубком Ночи и даром Дня. Что возьмёт рука его, тому и принадлежит

оно. Взявшее Кубок принадлежит Ночи и воспитывается Советом до возраста ста лет. Взявшее дар Дня принадлежит Дню, и Ночь от него отрекается навеки, и не зовёт его, и не принимает».

— Выбор, — сказал Драган Петрович.

— Выбор, — сказал Милан Петрович, просто чтобы не соглашаться с братом в формулировке, хотя был с ним согласен по существу.

Донья Инес де Вентура, сидевшая по правую руку от пустого председательского кресла, медленно сложила чёрный кружевной веер. Ей было пятьсот пятнадцать лет. Она была красива той сухой, строгой, кастильской красотой, которую пишут на иконах. Когда-то, очень давно, ещё смертной, у неё был сын. Об этом в Совете знали все и не говорил никто.

— Триста лет, — сказала донья Инес тихо. — Триста лет ни одного ребёнка. Нас тринадцать. Внизу, под нами, — несколько сотен по всей Европе, и с каждым десятилетием меньше. Вы сами видите, что происходит. Камеры. Базы данных. Девушки с перцовыми баллончиками. Мы вымираем, господа. Тихо, вежливо и по Уставу.

Она подняла глаза на Агнессу.

— Если это дитя возьмёт Кубок, — сказала она, — я прошу Совет поручить его воспитание мне.

Агнесса не ответила. Она стояла у стены, где висела старая, потемневшая карта Европы с отметками всех вампирских родов, и смотрела не на карту, а куда-то сквозь неё. На правом краю карты, за Карпатами, где кончалась Европа и начиналось белое поле с надписью «Terra incognita», кто-то из секретарей недавно прикрепил булавкой маленький листок с одним словом, написанным по-русски: «Урюпинск».

— Сорок ночей, — сказала Агнесса. — Я ни разу не видела, что делают люди сорок ночей с новорождённым.

— Кричат, — неожиданно сказал Дюбуа. Он сидел в дальнем конце стола, положив голову на сложенные руки, и все думали, что он спит. — Я жил над повивальной бабкой в Лионе. Восемнадцатый век. Сорок ночей подряд кто-то кричал. Сначала младенец, потом мать, потом бабка, потом я.

Агнесса обернулась к нему. Секунду казалось, что она улыбнётся. Но она не улыбнулась. Хранительница Устава не улыбалась восемьсот шестьдесят три года, и никто в этом подвале не помнил, как выглядит её улыбка.

— Билеты, — сказала она секретарю. — Тринадцать мест в багажном вагоне до Москвы. Оттуда как-нибудь. Сообщи Крайту, что мы едем. Пусть найдёт помещение. Под землёй. Без окон. Не меньше тринадцати мест для сидения.

— Я… я сообщу, — сказал секретарь. — А если в этом Урюпинске нет подходящего помещения?

Агнесса снова открыла Устав, как открывают молитвенник.

— Значит, — сказала она, — пусть Крайт поговорит с этой женщиной.

Ей не надо было уточнять, с какой.

Глава 2. Капуста

В ноябре Зинаида Петровна квасила капусту и к людям не выходила.

Это было известно всему Урюпинску так же твёрдо, как то, что Хопёр течёт на юг, а автобус номер четыре никогда не приходит по расписанию. С первого по двадцатое ноября не имело смысла звонить в дверь, обитую коричневым дерматином. Можно было позвонить, звонок сыграл бы «Подмосковные вечера», но дверь бы не открылась. За дверью, на шестиметровой кухне, в облаке укропного и чесночного духа, Зинаида Петровна рубила, солила, мяла и утрамбовывала. Шесть кочанов в день. Морковь — тёркой, крупной. Соль — без йода, только каменную, артёмовскую, которую ей до сих пор привозил бывший ученик с Донбасса. Клюква — для красоты. Лавровый лист — для порядка. Тмин — для покойного Пети, который любил с тмином, и Зинаида Петровна сорок лет клала тмин, хотя сама его терпеть не могла.

Банки стояли везде. В прихожей. В ванной. На подоконнике, вытеснив герань. На балконе. Под столом. На холодильнике «Саратов», где обычно спал рыжий кот Барсик, и Барсик, оскорблённый, переселился на шкаф.

В этом году впервые за сорок лет Зинаида Петровна квасила капусту не одна.

Слева от неё, за столом с клеёнкой в мелкую вишню, сидела Люба и тёрла морковь. Люба была на девятом месяце, огромная и круглая, как кочан, который кто-то надел на маленькую крепкую женщину с короткой русой стрижкой. Главврач Пухов выгнал её в декрет ещё в сентябре, лично, с криком на всю станцию переливания крови, и с тех пор Люба не находила себе места. Сидеть дома она не умела. Лежать тем более. За две недели она связала три детских конверта, восемь пар пинеток, плед, шапочку, ещё одну шапочку, потому что первая вышла «с ушами как у Бориса Николаевича», и чехол для чайника, просто чтобы руки не стояли.

Справа, у окна, на табуретке, сидела графиня Эржебета Батори-Карпати и шинковала. Шинковала она так, как, вероятно, когда-то фехтовала: прямая спина, неподвижное лицо, нож в тонкой белой руке летает быстро и ровно, а капуста падает в таз полосками толщиной в волос. Зинаида Петровна сначала проверяла каждую горсть. Потом перестала.

Графине было шестьсот двенадцать лет. Почти год она жила в Урюпинске, этажом выше, у соседки Нинки, и за этот год стала для улицы Садовой таким же привычным явлением, как куст сирени у подъезда и гаражный кооператив «Луч». Старушки на лавочке у дома давно перестали говорить ей вслед «бледная» и говорили теперь «венгерка», без всякой интонации, как говорят о погоде. Графиня в ответ кивала им. Иногда, когда никто не видел, садилась на край лавочки минут на пять. Это считалось у старушек высшей формой дипломатического признания.

Год назад графиня была вампиршей, которая шестьсот лет не могла выпить крови и тайком выливала её в розы. Сейчас она была вампиршей, которая ела гречку с печёнкой, пила гранатовый сок из аптеки и отражалась в зеркале в прихожей Зинаиды Петровны до подбородка. Ниже подбородка пока было пусто. Но лицо было: тонкое, строгое, с высокими скулами, и Зинаида Петровна каждое утро, проходя мимо зеркала, кивала этому лицу, как кивают коллеге в учительской.

— Мельче, — сказала Зинаида Петровна, не глядя на графиню.

— Мельче невозможно, — ответила графиня, не глядя на Зинаиду Петровну. — Мельче будет пюре.

— У Пети мельче выходило.

— Твой Петя был прапорщиком, — сказала графиня. — У прапорщиков на всё мельче выходит. Это профессиональное.

Люба фыркнула в морковь.

Так они разговаривали весь год. Со стороны можно было подумать, что две старухи вот-вот вцепятся друг другу в волосы. На самом деле они просто не умели иначе. За двенадцать месяцев подкидного дурака по вечерам, двенадцать месяцев гречки и соседских сплетен графиня с Зинаидой Петровной стали подругами. Ни одна, впрочем, в этом ни за что бы не призналась.

Но последние две недели в их разговорах появилось что-то новое. Что-то колючее.

Началось с распашонок.

Графиня вышивала. Это было единственное рукоделие, которому учили девочек в замке Карпати в пятнадцатом веке, и графиня владела им так, что венский музей прикладного искусства до сих пор хранил под стеклом её носовой платок тысяча шестьсот двенадцатого года. За осень она вышила для будущего внука — или внучки — двенадцать распашонок. На каждой серебряной нитью была вышита летучая мышь. Маленькая, изящная, с раскинутыми крыльями.

Зинаида Петровна, увидев распашонки, долго молчала.

— Ребёнку, — сказала она наконец, — летучих мышей на грудь.

— Это родовой знак Батори, — ответила графиня.

— А у нас родовой знак — пелёнка в цветочек. Ситцевая. Из «Детского мира» на Ленина.

На следующий день Зинаида Петровна принесла из «Детского мира» двенадцать пелёнок в цветочек. Графиня ответила вышитым одеяльцем с гербом. Зинаида Петровна — вязаными носочками, которые ей связала баба Шура. Графиня — серебряной погремушкой, которая лежала в её сундуке с тысяча восемьсот девятого года, со времён младенчества самого Влада. Зинаида Петровна — пластмассовой погремушкой в виде утёнка. Погремушка в виде утёнка играла «Каравай» и мигала. Графиня назвала её «изделием дьявола». Зинаида Петровна назвала серебряную погремушку «пылесборником».

Люба смотрела на всё это, тёрла морковь и молчала. Влад, когда приходил со смены, тоже молчал. Он вообще за последний месяц стал молчаливым. Ходил по квартире, как по минному полю. Ночами на станции переливания пересчитывал пакеты с кровью по три раза. Однажды Люба застала его в прихожей: он стоял перед зеркалом и пристально смотрел на собственное отражение — живое, розовощёкое, в гостевых тапках — так, будто видел его в первый раз и не был уверен, что увидит завтра.

— Ты чего? — спросила Люба.

— Думаю, — сказал Влад. — Каким он будет.

— Кто?

— Ребёнок. В зеркале.

Люба взяла его за руку. Рука у Влада давно была тёплой. Пульс — шестьдесят четыре. Гемоглобин — сто сорок один. Год назад она проверяла всё это каждую неделю, тайком, на станции. Теперь не проверяла. Привыкла, что муж живой.

— Будет в зеркале, — сказала она. — Куда денется.

Влад кивнул и ничего не ответил. Он помнил, о чём ему не хотелось помнить. Он слишком хорошо помнил, что такое быть ребёнком, которого нет в зеркале.

Двадцатого ноября, в одиннадцатом часу вечера, когда в тазу лежал восьмой кочан, а графиня отказывалась шинковать девятый из принципа, в дверь позвонили.

«Подмосковные вечера» прозвучали до слова «если б знали вы». Зинаида Петровна не шевельнулась. Звонок прозвучал снова. Потом в дверь постучали — тихо, вежливо, три раза, с равными промежутками, как стучат в кабинет начальства.

— Крайт, — сказала графиня, не поднимая головы. — Так стучит только он.

— В ноябре не открываю, — сказала Зинаида Петровна.

— Он знает. И всё равно стучит. Значит, важно.

Зинаида Петровна вздохнула, вытерла руки о фартук и пошла в прихожую.

Альбрехт фон Крайт стоял на коврике «Добро пожаловать» в сером пальто, сером шарфе и котелке. Под мышкой у него была папка, на носу — пенсне. На лацкане пальто — значок Совета Ночи, серебряная летучая мышь с пером в когтях, а рядом с ним, на соседнем лацкане, — бейдж: «МФЦ г. Урюпинска. Крайт А. Ведущий специалист. Окно № 4».

Носить оба значка одновременно он начал с весны. Ему казалось, что так честнее.

— Добрый вечер, Зинаида Петровна, — сказал он по-русски, медленно и очень правильно. — Прошу прощения. Ноябрь. Капуста. Я помню. Я бы не пришёл, но у меня документ.

Он протянул ей лист. Это было письмо на плотной чёрной бумаге, с остатками красной сургучной печати. Сверху был оттиск: летучая мышь с пером.

— Мне его принёс Фернанд. Сегодня, в окно номер четыре. Прямо на стойку. Посетители испугались, — сказал Крайт и, подумав, добавил: — Один. Он был единственный посетитель.

— Я по-ихнему не читаю, — сказала Зинаида Петровна, держа письмо на вытянутой руке.

— Я переведу, — сказала графиня, появляясь в дверях кухни с ножом в руке.

Она взяла письмо. Пробежала глазами. И лицо её — строгое, неподвижное, шестисотлетнее — стало ещё неподвижнее.

— Они едут, — сказала она. — Тринадцать. Все. Через несколько дней. На Выбор.

— Какой выбор? — спросила Люба из кухни.

Графиня не ответила. Она смотрела на Крайта, а Крайт смотрел на неё, и в его бесцветных глазах за пенсне было то, чего никто никогда не видел у советника Совета Ночи: неловкость.

— Я писал им, что распутица, — сказал он. — Я писал, что ждать надо. Я писал три раза. Мне не ответили.

— Агнесса никому не отвечает, — сказала графиня.

— Кто такая Агнесса? — спросила Зинаида Петровна.

Графиня открыла рот. И в этот момент в кухне что-то негромко, но очень отчётливо плеснуло.

Все трое обернулись.

Люба стояла у стола с тёркой в одной руке и недотёртой морковкой в другой. Под табуреткой, на линолеуме, растекалась лужица. Люба посмотрела на неё. Потом на Зинаиду Петровну. Потом на морковку.

— Зинаида Петровна, — сказала она спокойно, тем голосом, которым девять лет говорила по телефону с ЦРБ про ДТП на трассе. — У меня, кажется, началось.

Графиня выронила нож. Нож воткнулся в линолеум рядом с ботинком Крайта и задрожал. Крайт не шелохнулся. Резких движений без письменного основания он не делал никогда.

Зинаида Петровна сорок лет преподавала биологию и шесть лет — анатомию в медучилище. Она знала, что делать. Она знала это так твёрдо, что даже не стала думать.

— Капусту не трогать, — сказала она. — Барсик, слезь со шкафа, не до тебя. Эржебета, звони Михалычу. Крайт, не стой на коврике, проходи, сумка в коридоре, синяя, собрана с октября, возьми. Люба, сядь. Не на табуретку, на стул, у стула спинка. Дыши.

— Я дышу, — сказала Люба.

— Дыши лучше.

Она пошла в комнату, вытащила из-под кровати ещё одну сумку — свою, тоже собранную с октября, — и только тогда, проходя через прихожую, вспомнила.

— Влад, — сказала она. — Влад на смене.

— Я позвоню, — сказал Крайт, уже набирая номер на старом кнопочном телефоне. Набирал он медленно, по одной цифре, проверяя каждую.

Влад ответил на первом гудке. Выслушал. Сказал только одно слово по-венгерски, которого Крайт, учёный человек, раньше никогда не слышал от члена благородной семьи. И положил трубку.

Через одиннадцать минут на Садовую, семь, одновременно подъехали два такси: Михалыч — со стороны Ленина, и неизвестно как вызванный Ласло на Любиной «шестёрке» — со стороны хутора, в ватнике, в ушанке и, почему-то, с козлом Борисом Николаевичем на переднем сиденье.

А ещё через семь минут, в полночь, на Садовую прибежал сам Влад. Без пальто. В медицинском халате и бахилах. Четыре километра от станции он пробежал за шесть минут, и прохожие на улице Ленина потом божились, что видели, как мимо промелькнуло что-то белое, а снег за ним завился воронкой.

На кухне остался таз с девятым кочаном, недошинкованным. Он простоял там три дня. Никто не посмел его тронуть.

Глава 3. Натальный зуб

Родильное отделение Урюпинской центральной районной больницы занимало второй этаж старого корпуса, и в ночь на двадцать первое ноября оно пережило нашествие, какого не помнило со времён эпидемии гриппа девяносто девятого года.

Первой вошла Люба. Её вёл под руку Влад в халате и бахилах. Люба шла сама, ровно, останавливаясь на каждой схватке и пережидая её с таким лицом, с каким пережидают очередь в поликлинике: терпеливо и с внутренней готовностью написать жалобу.

За ними шла Зинаида Петровна с двумя сумками. За Зинаидой Петровной — графиня в соболином пальто поверх халата с летучими мышами, потому что переодеться она не успела, а выйти на улицу без соболей не смогла. За графиней — Крайт с синей сумкой и папкой. За Крайтом — Ласло в ватнике и ушанке. За Ласло — Борис Николаевич.

На Борисе Николаевиче процессия застряла.

— С козлом не положено, — сказала санитарка на входе, широкая женщина в синем халате, растопырив руки в дверях, как вратарь.

— Он член семьи, — объяснил Ласло.

— Тут все члены семьи, — сказала санитарка. — А козлов не положено.

Ласло посмотрел на Бориса Николаевича. Борис Николаевич посмотрел на санитарку тем жёлтым взглядом, от которого блогер Артём однажды прыгнул в Хопёр. Санитарка не дрогнула. Санитарка тридцать лет работала в родильном отделении и видела отцов в таком состоянии, что козёл на этом фоне смотрелся вполне прилично.

В итоге Ласло с Борисом Николаевичем остались в приёмном покое на первом этаже, на клеёнчатой банкетке под плакатом «Грудное вскармливание — залог здоровья», и просидели там до утра. Плакат Ласло прочитал сорок два раза. Борис Николаевич съел его нижний угол.

Наверху Любу приняла акушерка.

Акушерку звали Ангелина Степановна. Ей было за шестьдесят. Она была маленькая, сухая, с крупными, как у кузнеца, руками и голосом, который не повышался никогда. Она приняла за свою жизнь, по её собственным подсчётам, четыре тысячи двести одиннадцать младенцев, включая тройню, двух близнецов в рубашке и одного мальчика, который родился с уже прорезавшимся зубом и укусил её за палец.

И она была единственным человеком в Урюпинске, который не учился у Зинаиды Петровны.

Ангелина Степановна была из Михайловки. Переехала в Урюпинск в восемьдесят девятом, уже взрослой, уже с дипломом и уже с характером. Об этом знали все. Об этом в Урюпинске говорили с тем почтительным ужасом, с каким говорят об альпинистах, поднявшихся на Эверест без кислорода. Она одна во всём городе называла Зинаиду Петровну просто Зиной. И она одна во всём городе не боялась её совершенно.

— Зина, — сказала Ангелина Степановна, увидев в коридоре всю делегацию. — Ты сюда зачем?

— Я с ней, — сказала Зинаида Петровна.

— Ты ей кто?

Зинаида Петровна открыла рот. И закрыла. Впервые за много лет ей не хватило слова. Кто она Любе? Не мать. Не свекровь. Не бабушка. Квартирная хозяйка её мужа? Бывшая учительница? Соседка?

— Я ей… — начала Зинаида Петровна.

— Ясно, — сказала Ангелина Степановна. — Сиди в коридоре. Вон стулья. А это кто?

Она посмотрела на графиню.

— Свекровь, — сказала графиня.

— В соболях, — сказала Ангелина Степановна.

— В соболях, — согласилась графиня.

— Тоже в коридор. И соболей снимите, тут жарко, у нас котельная новая. А вы кто? — Это относилось к Крайту.

— Я несу сумку, — сказал Крайт.

— Сумку оставьте, сами уходите. А это, я так понимаю, отец.

Влад, бледнее обычного, кивнул.

— Партнёрские роды, — сказала Ангелина Степановна. — Справка о флюорографии есть? Есть. Халат есть. Бахилы есть. Вы, говорят, фельдшер?

— Ночной. На станции переливания.

— Крови, значит, не боитесь, — сказала Ангелина Степановна.

Влад помолчал. Потом очень честно сказал:

— Боюсь.

Ангелина Степановна посмотрела на него внимательно, снизу вверх. За тридцать восемь лет в родильном отделении она слышала от отцов всё: что они космонавты, что они десантники, что они хирурги и что видели войну. Ни один отец ни разу не сказал ей «боюсь».

— Это хорошо, — сказала она. — Значит, в обморок упадёте с умом, а не как попало. Заходите.

Дальше было много часов, о которых потом никто подробно не рассказывал.

В коридоре на стульях сидели две бабушки. Справа — Зинаида Петровна, прямая, маленькая, с сумкой на коленях. Слева, через один пустой стул, — графиня, сняв соболя, в чёрном халате с вышитыми летучими мышами. Больше никого в коридоре не было. Только тусклая лампа, плакат про прививки, кулер, который время от времени булькал, и часы.

Первые два часа они молчали.

Потом графиня сказала, не поворачивая головы:

— Влад родился в тысяча шестьсот двенадцатом. Ночью. В грозу. Я кричала так, что проснулся весь замок и три соседних деревни. Мой муж выпил на радостях бочонок токайского и проспал три дня. Повитуха сбежала. В деревне сочли, что в замке рожает дьявол, и неделю звонили в колокола.

Зинаида Петровна помолчала.

— А я не рожала, — сказала она. — Не дал бог. Сорок лет чужих растила. По тридцать в классе. Иногда по тридцать два.

Графиня медленно повернула голову и посмотрела на неё. Зинаида Петровна смотрела на часы.

— Так ты не бабушка, — сказала графиня.

— Так и ты не была матерью, — сказала Зинаида Петровна. — Сама в бане говорила. Гробы ему слала.

Это было жестоко. Это было правдой. Они обе это знали.

Графиня отвернулась к окну. За окном шёл первый в этом году снег — мокрый, ноябрьский, такой, который не ложится, а тает на лету и превращает урюпинские улицы в кашу.

— Значит, обе будем учиться, — сказала графиня тихо.

Зинаида Петровна ничего не ответила. Только переставила сумку с колен на свободный стул между ними. Через минуту графиня положила на тот же стул свои соболя.

В три сорок утра из-за двери родильного зала донёсся крик.

Не Любин. Тонкий, сердитый, пронзительный, на высокой ноте — крик человека, которого только что, без предупреждения и без согласования, достали из тёплого и тёмного места в холодное и светлое и который собирается по этому поводу жаловаться в самые высокие инстанции.

Обе бабушки встали одновременно. Сумка упала. Соболя сползли на пол.

Через десять минут дверь открылась, и в коридор вышла Ангелина Степановна. Она вытирала руки полотенцем и смотрела на них с выражением, которое трудно было прочитать.

— Девочка, — сказала она. — Три четыреста. Пятьдесят два сантиметра. Мать в порядке. Отец… — она оглянулась через плечо, — отец тоже почти в порядке. Сидит на полу. Нюхает нашатырь. Но он мне по ходу дела сказал, что у роженицы вторая положительная, и я проверила, и это правда, хотя в карте написано первая. Ваша медсестра в консультации, видать, напутала. Странный у вас отец.

— Странный, — согласилась графиня.

— Хороший, — одновременно сказала Зинаида Петровна.

Они посмотрели друг на друга.

— А ещё, — продолжила Ангелина Степановна, — у девочки зуб.

— Какой зуб? — спросила графиня, и голос у неё стал очень тихим.

— Натальный, — сказала Ангелина Степановна. — Бывает. Один на две-три тысячи. Это у меня второй за практику. Сверху, справа. Острый, зараза. Маленький, но острый. Я пальцем проверила.

Она показала палец. На подушечке была маленькая аккуратная точка.

Зинаида Петровна посмотрела на палец. Потом на графиню. Графиня смотрела на палец так, как смотрят на письмо с чёрной печатью.

— Клык, — сказала графиня по-венгерски, совсем беззвучно.

— Натальный, — твёрдо сказала Зинаида Петровна по-русски. — Один на две-три тысячи. Медицинский факт. Можно к ней?

Ангелина Степановна вздохнула.

— На пять минут. Обе. Руки мыть. Соболя оставить.

Люба лежала на высокой кровати у окна, бледная, мокрая, со спутанными волосами, и улыбалась так, как не улыбалась никогда, даже на берегу Хопра, когда протягивала через кольцо паутинку. Рядом, на краешке стула, сидел Влад с ваткой нашатыря в одной руке. В другой руке, на сгибе локтя, лежал свёрток. Маленький, туго запелёнатый в больничную пелёнку в бледно-голубой штамп. Из свёртка торчало сморщенное красное личико с крошечным сердитым носом.

Влад смотрел на это личико и шевелил губами. Люба потом сказала, что он так шевелил губами уже двадцать минут.

— Что он делает? — шёпотом спросила Зинаида Петровна.

— Считает, — сказала Люба. — Сначала пальцы. Потом ресницы. Сейчас, кажется, волосы.

— Сто двенадцать, — сказал Влад вслух, не отрываясь. — Сто тринадцать.

Графиня подошла. Медленно, бесшумно, как всегда. Остановилась над свёртком. Девочка открыла глаза.

Глаза были тёмные, мутные, как у всех новорождённых. Но в полумраке палаты, где горела только одна лампа над соседней пустой кроватью, в глубине этих глаз на секунду вспыхнули две маленькие янтарные искры. Как у кошки. Как у отца, когда он забывался в темноте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.